

CRITICA ET BIBLIOGRAPHIA

Славистика в высших учебных заведениях Венгрии. Szlavisztika a magyar felsőoktatásban. Szerk. [Ред.] Dr. NYOMÁRKAY István. Budapest 1999, 225 с.

Венгерской славистике — 150 лет! Прекрасным подарком к юбилею стало издание к дням проведения в Будапештском университете им. Лоранда Этвеша праздничного заседания, приуроченного к столь значительному событию в мире венгерской славистики, книги, которая и стала предметом настоящего отклика.

В 1849 г. Габсбургская монархия учредила в университетах Вены и Будапешта кафедры славянских языков. Период «весны народов», как иногда называют это время историки, помимо важных сдвигов в общественном сознании молодых славянских наций Центральной Европы, приведших к рождению одних, укреплению и развитию других, принес, как видим, изменения и в языковую политику монархии начала неабсолютистского правления.

Естественное стремление венгерских исследователей обратить свое внимание на культурные ценности славянских народов, в соседстве с которыми формировалась и крепла венгерская нация (что само по себе не могло не сказаться на особенностях ее культуры и, в частности, языка) обрело заметное подкрепление в виде университетской кафедры. Время подтвердило всю правильность такого решения. Последователи Йожефа Ференца и Оскара Ашбота (венгерских славистов, заведующих кафедрой в XIX в.) сумели значительно развить и расширить как предмет исследования, так и качественные характеристики достижений своих предшественников. Венгерская славистика по праву гордится своим прошлым, а имена Яноша Мелиха, Иштвана Кньежи, Ласло Хадровича, Эмиля Дмитриевича Балецкого и других хорошо известны за пределами Венгрии.

Есть чем гордиться и нынешним отечественным славистам. В настоящее время функционируют кафедры славистики в высших учебных заведениях Будапешта, Дебрецена, Печа, Сегеда, Ниредьхазы и Сомбатхея, которые сегодня являются средоточием значительного научного потенциала в преподавании и исследовании практически всех современных славянских литературных языков, истории их становления, функционирования различных территориальных и социальных форм от древнейших времен до наших дней.

Всё многообразие и глубину отечественных славистических студий ярко иллюстрирует их своеобразный временной срез (в виде публикаций венгерских славистов на протяжении последних пяти лет), которые и составляют основу рецензируемого издания.

В книге — шесть разделов (по числу высших учебных заведений, представленных в алфавитном порядке): Педагогический институт им. Даниэля Бержени в городе Сомбатхей, Педагогический институт им. Дьёрдя Бешенеи в Ниредьхазе, Будапештский университет им. Лоранда Этвеша, Печский университет им. Януса Паннониуса, Сегедский университет им. Аттилы Йожефа и Дебреценский университет им. Лайоша Кошута.

Соответственно в рамках этих учебных заведений представлены кафедры славистики с их точными адресами, с подробным указанием научных званий и должностей, работающих на них, отдельные дисциплины и формы их преподавания каждым из

сотрудников кафедры, с перечнем их научных и научно-методических публикаций за период с 1994 г.

Как явствует из нового издания, в настоящее время в Венгрии пять подразделений высших учебных заведений именуются кафедрами русского языка и/или литературы/филологии (Сомбатхей, Ниредьхаза, Сегед и Дебрецен); три — кафедрами славянской филологии (Будапешт, Печ и Сегед); по две — польского языка и литературы/филологии (Будапешт и Дебрецен) и хорватского языка и литературы (Сомбатхей и Печ); по одной кафедре — восточнославянской и балтийской филологии (Будапешт); словенского языка и литературы (Сомбатхей); украинской и русинской филологии (Ниредьхаза). При этом отметим, что перечень славянских языков, преподаваемых и исследуемых в настоящее время в венгерских высших учебных заведениях, не ограничивается языками, представленными в названиях кафедр. Помимо вышеперечисленных языков в настоящее время можно получить квалифицированную подготовку по белорусскому (Будапешт), болгарскому (Дебрецен, Сегед), словацкому (Будапешт, Ниредьхаза), сербскому (Будапешт, Сегед), македонскому (Будапешт) языкам, получить сведения об особенностях различных территориальных, социальных диалектов вышеперечисленных славянских языков. Читаются курсы по истории и современной русской, украинской, белорусской, русинской, чешской, словацкой, польской, болгарской, хорватской, сербской, словенской литературе. Как следует из содержания нового справочного издания, достаточно весомы традиции преподавания и исследования в Венгрии старославянского, истории других славянских литературных языков, их исторических грамматик.

Перечень учебных дисциплин, спецдисциплин, факультативов и курсов, читаемых для студентов университетов и пединститутов, а также при подготовке соискателей научных званий кандидатов и докторов наук (аспирантура, докторантура в Будапештском университете им. Лоранда Этвеша, Дебреценском университете им. Лайоша Кошута, например) дают хорошее представление об основных и наиболее развитых направлениях современной венгерской славистики.

Списки публикаций венгерских славистов, отдельно представленные в разделах «монографии, отдельные издания», «научные статьи», «рецензии», «персоналии», иллюстрируют как интенсивность разработки того или иного научного направления, так и прекрасно осведомляют читателей об интересах и достижениях многочисленных местных авторов.

Насколько нам известно, подобное издание впервые осуществлено в масштабах всей страны. Подобная книга безусловно будет востребована и, во что хочется верить, будет регулярно выходить и в дальнейшем. Как раз составителям будущего подобного справочника хочется пожелать (всё равно как и лингвистам, представляющим для такого издания списки своих научных трудов) добиться унификации оформления таких библиографических описаний своих работ (единообразие сокращений, названий периодических специальных органов и т.д.), вычитки материалов, во избежание досадных опечаток. Возможно, следует дополнить подобный справочник материалами о преподавании славянских языков для студентов «неславистических» специальностей других венгерских вузов, средних и специальных учебных заведений. Впрочем, эти пожелания отнюдь не умаляют достоинства издания уже осуществленного.

В завершение еще раз отметим, что анализ компактно представленных в настоящем издании обширных материалов позволяет во многом получить человеку со стороны ответы на многочисленные вопросы: «who's who» в современной славистике Венгрии. Последнее делает книгу прекрасным «путеводителем» для работающих в данной отрасли знаний, особенно для зарубежных специалистов при научном поиске сходных тем и направлений и наведении «мостов» для современной научной деятельности с венгерскими исследователями и редакторами специальных славистических изданий. Этого вполне достаточно, чтобы оправдать ожидания инициаторов и составителей нового справочного издания, о которых пишет в предисловии редактор издания, профессор Иштван Ньюмаркаи, один из наиболее известных современных продолжателей дела Йозефа Ференца и Оскара Ашбота.

Михаил Капраль

Slavica Gottingensia. Ältere Slavica in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Hrsg. von R. LAUER. Bearbeitet unter der Leitung von U. JEKUTSCH (Opera Slavica. Neue Folge, 30). Teile 1–3. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1995. XLVI, (2), 752 S. (Teil 1); (6), 753–1486 S. (Teil 2); (6), 1487–2288 S. (Teil 3).

Для описания изданной литературы используются различные виды библиографий, или каталогов. Один из распространенных жанров библиографирования — представление, полное или отраслевое, фондов старейших библиотек. Рецензируемое нами издание отражает раннюю славистику одного из крупнейших книгохранилищ Германии — Нижнесаксонской государственной и университетской библиотеки в Геттингене, основанной, как и Геттингенский университет, в XVIII в. Надо сказать, что это не первый (хотя и не столь частый) опыт систематического описания и представления славистической литературы по фондам библиотек Германии. Так, в 50-е годы вышел каталог славистики Йенского университета, в 60-е годы — библиотеки Эрфуртского округа в Гота и др. К сожалению, до сих пор остаются неописанными многие богатейшие фонды литературы о славянстве не только в Германии, но и в других неславянских странах. В этом смысле рецензируемое издание приносит надежду на то, что ранняя славика в этих странах постепенно будет описываться и станет доступной широкому кругу специалистов.

Как пишет во вступительной статье к этому грандиозному трехтомному изданию объемом более чем 2 300 страниц его инициатор и издатель профессор Райнхард Лауэр, литературу о славянстве здесь стали собирать с самого начала создания Геттингенского университета в 1737 г. Неоценимую роль в этом деле сыграл выдающийся славист и статист, с 1769 г. профессор университета Август Л. Шлёцер (1735–1809), деятельность которого была связана с Россией. Историки геттингенской славистики выделяют также выдающиеся заслуги в комплектовании ранней славистики барона Томаса Г. фон Аша (1729–1807), который, являясь начальником медицинской коллегии и медиком генерального штаба в Санкт-Петербурге, регулярно, на протяжении многих лет, слал из России издания на русском и других языках. Потому в геттингенской библиотеке достаточно комплектно представлены русские издания последней трети XVIII в. В ее рамках существовал специальный фонд под названием *Bibliotheca Aschiana*, расформированный в 80-е годы XIX в. и реконструированный уже сейчас создателями рецензируемого труда (см. его третий том, с. 2285–2288). Когда в 1751 г. в Геттингене возникло Королевское общество наук (ныне Геттингенская Академия наук), многие его иностранные члены, особенно из России, присылали в дар книги. Было немало и таких, кто, оказавшись тем или иным образом связанным с Геттингеном, регулярно снабжал библиотеку славянскими книгами. Таков друг А. С. Пушкина и ученик А. Л. Шлёцера Александр Тургенев, историк Ф. О. Туманский, ставший позднее министром народного образования С. С. Уваров, знаменитый серб Вук С. Караджич, польский литератор и политик Я. А. Орховский, граф Юзеф М. Оссолинский и многие другие.

Эти огромные тома листаешь с большим трепетом. Как будто перелистываешь страницы истории славистики. Это действительно так! Ведь временной размах изданий, отраженной в *Геттингенской славике*, охватывает середину XV в. и тянется до 1830 г., т.е. почти четыре века! Нижнесаксонская государственная и университетская библиотека собрала 8982 названия публикаций, датируемых указанным периодом времени. Сюда вошли издания всех жанров (монографии, сборники, ежегодники, газеты и журналы — вплоть до одностраничных листовок), которые (издания) так или иначе касаются славянства — не обязательно, чтобы в названии книги было нечто, сигнализирующее о славянах; включаются сюда и те публикации, в которых славяне затронуты косвенно, в связи с какой-то иной проблемой. При этом славянство в данном библиографическом издании представлено во всех его проявлениях — в языке, фольклоре и литературном творчестве, в истории, экономике, географии, политике, публицистике и под.

Ощущение удовлетворения испытываешь от знакомства с описанием публикации: это исчерпывающее описание, практически без каких-либо сокращений в виде многоточий или самовольных *etc.* В некоторых случаях описание только названия книги занимает половину и более страницы мелким шрифтом. Под библиографическими данными приводится шифр, под которым издание находится в библиотеке или в ее филиалах (институтских, семинарских и проч. библиотеках университета), обязательно указывается количество наличествующих экземпляров книги, при необходимости даются комментарии, в которых читаем о стоянии книги (если она, например, без титульного листа или без какой-либо страницы и т.д.), сведения (если они известны) о том, кто и когда (нередко с точностью до дня, месяца и года!) подарил или передал книгу или журнал библиотеке. Не оставляют составители библиографии без внимания и автографы. При отсутствии на титульном листе автора фамилия такового, как правило, устанавливается на основе книжных каталогов и библиографических справочников различных стран (их список представлен в I, с. XXXV–XLIV) и подается в квадратных скобках. В этом труде немало иллюстраций (по крайней мере, в первых двух томах) — копии титульных листов редких книг, а также отдельные страницы из них. Таким образом, каждое описание превращается в своеобразный «портрет» книги, которую ты еще не держал в руках, но теперь имеешь о ней первоначальные, самые необходимые, сведения.

Библиографируемые публикации в *Геттингенской славике* представлены в алфавитном порядке. В открывающемся перед вами «море» книг помогают ориентироваться различные указатели, помещенные в третьем томе на с. 1979–2288. Это авторский указатель, затем следует алфавитный указатель названий публикаций. Если вас интересует, в каком месте издано сколько и какие публикации, к вашим услугам специальный указатель, начинающийся городом *Aachen* и заканчивающийся городом *Zwickau*. Очень информативен хронологический указатель. Он дает возможность видеть, за какие столетия или за какие годы сколько славистических книг хранит библиотека. Так, на основании этого указателя легко выяснить, что библиотека содержит 13 публикаций XV в., посвященных славистике или с нею связанных; книг XVI в. значительно больше — 357 названий — и так чем дальше, тем изданий, естественно, становится больше. Самым важным, на наш взгляд, является предметный указатель, позволяющий из огромной массы представленных изданий достаточно быстро выбрать те, которые относятся к конкретной области знания или повседневной жизни. Данный указатель структурирован таким образом: естественные науки, техника, сельское хозяйство, медицина, история, география и краеведение, экономика, государство и право, военное дело, культура и наука, языковедение, литературоведение, художественная литература, искусство и искусствоведение, религия, философия и психология, литература универсального содержания. Заключает указатели и вообще весь библиографический труд *Bibliotheca Aschiana*, т.е. перечень позиций, под которыми находятся книги, периодика и т.д. из библиотеки Т. фон Аша, внесшего, как мы уже об этом говорили, наибольший вклад в первоначальное формирование Нижнесаксонской государственной и университетской библиотеки.

Богатство славистического фонда указанной библиотеки таково, что в Геттингене (и это хорошо известно) можно проводить полноценные исследования практически обо всех славянских народах и странах в ранние периоды их истории — вплоть до первой трети XIX в. Здесь можно найти то, что с большим трудом разыскиваешь годами по различным библиотекам разных стран. *Библия* на чешском языке 1506, 1549, 1577, 1579–1601, 1596 гг. издания, словенская *Библия* в переводе Ю. Далматина 1584 г., как и многочисленные протестантские словенские и хорватские издания XVI в., первые или ранние славянские грамматики, учебники, словари. Библиографическое представление *Указов* русских царей занимает более 200 страниц третьего тома! (№ 7213–8397). К ним можно добавить *Манифесты* русских императоров (II, с. 3811 и далее). Вплоть до одностраничных *объявлений* XVIII – начала XIX вв., как, например, объявление 1759 г. о смерти великой княгини Анны Петровны (II, с. 4559 и др.). Геттинген заботливо

хранит книги и брошюры, изданные в небольших захолустных городках Российской империи и др. стран. В восхищение приводит, например, представление книги под названием *Воспоминание имени высокопovelительнаго свѣтлейшаго князя...*, выпущенной в 1790 г. в Нахичевани (III, № 8625), или книги Я. Петерсона *Краткое описание болезни, в Сибири называемой ветреною или воздушною язвою...*, вышедшую в 1790 г. в ... Тобольске! (II, № 4863). Да еще, например, с указанием, что книгу подарил библиотеке Т. фон Аш 20/31.8.1796! Осознание того, что в данной библиотеке все это хранится и может быть тобою при необходимости и возможности использовано, приводит в какой-то трепетный восторг. Хочется полистать книги, изданные в Нахичевани и в Тобольске, именно в ... Геттингене!...

Еще несколько слов о библиографическом оформлении изданий. Мы уже сказали, что описание книг, журналов и т.д. дается в данном труде исчерпывающе. Одна только досада: славянские издания, исполненные кириллицей, транслитерируются, а это значит, что частично теряется «аромат», исходящий из «портрета» книги. Кроме того, в случае с изданиями на сербско-хорватском не всегда удается выяснить, исполнена ли данная публикация кириллицей или же латиницей. А что касается русских изданий, транслитерация стирает различие между *e* и *ь*. На наш взгляд, составители рецензируемого труда нашли верный путь представления фамилии автора — они подают ее в том современном виде, в каком она принята в соответствующем славянском языке (за исключением транслитерируемых). Оригинальные написания фамилий авторов подаются вслед за современными, после косой черты, а в авторском указателе имеется соответствующая отсылка, например: *Větrovský, Maximilián/ v Wietrowsky, Maximilian* (III, № 8540). В результате такого подхода легче узнается автор, фамилия которого, если его книги издавались в разные годы и на разных языках, выступает в двух, трех и более вариантных написаниях. Правда, иногда составители все же упускают этот момент из вида, ср., например, III, № 6750: *Šiškov, Aleksandr Semenovič*; между тем в названии книги фамилия автора представлен как *Alexander Schischkow*. Однако таких упущений немного.

Завершая рецензию, не можем не отдать дань уважения инициатору и издателю труда проф. Райнхарду Лауэру и руководителю всего библиографического проекта проф. Ульрике Екуч, сумевших с успехом проделать огромную и очень полезную для современной славистики работу. Достоинно восхищения и то, что известное в Германии издательство *Harrassowitz Verlag* решилось на такое грандиозное издание и реализовало его прекрасным образом! Тысячи из описанных публикаций так и лежали бы в затемненных подвалах библиотеки, веками никем не тронутые. Теперь же с появлением трехтомника *Геттингенской славистики* они выставлены «на свет Божий», их «портрет»-описание уже просмотрели и еще просмотрят десятки и сотни глаз специалистов. Не сомневаюсь, что после этого капитального труда *Геттингенская славика* Нижнесаксонской государственной и университетской библиотеки «пришла в движение», стала чаще требуемой, чем это было до настоящего времени. Хотелось бы надеяться, что грандиозный геттингенский библиографический проект на этом не остановится, и мы со временем узнаем, что же хранится в названной библиотеке из публикаций по славистике после 1830 г.

(Гартуский университет)

А. Д. Дуличенко

Ю. Манн. Динамика русского романтизма. Москва: Аспект Пресс, 1995. 380 с.

Данная монография известного русского литературоведа является переработанным и дополненным вариантом его предыдущего труда на эту тему («Развитие русского романтизма». Москва 1976.). Автор рассматривает в ней вопросы поэтики классического периода русского романтизма в литературе 1810–1830-х годов. По его мнению, это направление нельзя определить, как это часто делают другие исследователи, по

какому-то одному признаку, необходимо вскрыть целую систему всех критериев. Исходя из дефиниции В. Кайзера, согласно которой произведение искусства представляет собой не пространственное сооружение, в котором различные стороны можно исследовать изолированно, но некоторую целостность, где все слои, разделенные в рассмотрении, в конце концов соотнесены друг с другом и действуют сообща. Ю. Манн выводит ее общий закон из таких хорошо апробированных категорий поэтики, как образ автора, организация повествования, характерология персонажей, жанровое своеобразие и т.д. Основным понятием он считает конфликт, который, с одной стороны, ведет нас в глубинную структуру произведения или системы произведений, с другой стороны, в отличие от горизонтального построения уровней и слоев, он и вертикально прорезывает, пронизывает их.

Первая глава посвящена оппозициям поэтического высказывания предромантизма, предвосхищающего, по мнению автора, романтическую коллизию. В антитезах «венец–венок», «шалаш–дворец», «халат–мундир» и их вариациях один член оппозиционной пары имеет позитивное значение в противовес другому, а их совместное употребление выражает противоположные типы поведения, образа мысли, мировосприятия.

Вслед за рассмотрением элементарных форм противопоставления ученый в тонком анализе стихотворения В. Жуковского «Невыразимое» по-новому прослеживает движение смысловых и эмоциональных оппозиций от одного полюса к другому, вытеснение одного значения другим. Так, в форме движения оппозиций уже предвещается динамика романтической коллизии.

Ю. Манн дает глубокий анализ поэтики ведущего жанра русского романтизма — романтической поэмы. Более или менее устойчивая структура конфликта сложилась в ней во второй половине 1820-х — в начале 1830-х годов ранее и полнее, чем в других жанрах этого направления. Ее возникновению способствовали южные поэмы Пушкина, поэтому автор закономерно уделяет этим произведениям особое внимание.

Главный признак, присущий романтическому конфликту, — особое положение центрального персонажа, которое усиливается описательными, сюжетными и композиционными моментами. Ю. Манн убедительно показывает стремление Пушкина после «Кавказского пленника, в отличие от европейских, байроновских традиций, создать дистанцию между авторским «я» и главным героем в «Братьях-разбойниках» и «Бахчисарайском фонтане». В то же время он указывает и на другую возможность, которая осуществляется в умеренной автобиографичности («Кавказский пленник», «Цыгань»), и при этом обращает внимание на расхождения с романтическим каноном, наиболее ярко проявляющиеся в «Цыганах». Его анализ отчетливо показывает, каким образом Алеко, олицетворяя образ «пленника» на более высоком уровне, становится ведущей фигурой начала XIX в. В отношении главных героев он подробно останавливается на их отчуждении, моментах путешествия (бегства, скитальчества) и мотивировки последних, особо выделяя проблематику свободы и любви. Автор подчеркивает, что Пушкин своим интересом к внутреннему миру героинь стал новатором в мировой литературе. Что касается любви, женские персонажи в отличие от байроновских тоже переживают процесс отчуждения. Тем самым с точки зрения композиции постепенно создается предпосылка превращения однополюсной структуры, основывающейся на центральном персонаже, в многомерную.

Во второй половине 1820-х годов окончательно складывается модель конфликта в романтической поэме. На примере анализа произведений К. Рылеева, И. Козлова, А. Вельтмана и других Ю. Манн сопоставляет ее отчасти с романтическим конфликтом у Байрона, отчасти с его пушкинским переосмыслением и на этом основании делает выводы относительно развития данного жанра. В портрете героя русской поэмы постепенно сглаживаются демонические черты, ослабляется бурная байроническая энергия, однако за ним сохраняется исключительное, особое положение. Герои Байрона отчуждены дважды: они противостоят прежнему окружению, но и в новой обстановке, после ухода (отъезда или бегства) повторяется мотив одиночества без какой-либо надежды

на примирение и обретение утраченного равновесия. Такой прогрессирующий характер отчуждения в русской литературе можно обнаружить только в произведениях Лермонтова.

Трансформируются и мотивы отчуждения. У Байрона они, как правило, имеют личный характер: задетое честолюбие, разочарование в людях, неразделенная любовь, когда индивидуальные обиды вырастают до космических масштабов и переходят в неприятие всего сущего порядка вещей. В русских же вариантах эти мотивы более конкретны, просты, момент мести имеет скорее земную окраску, не приобретает глобальных размеров.

Любовь у Байрона, как это общепринято в романтической литературе, — возвышенное, идеальное чувство. В борьбе с окружением это единственное прибежище героя, единственная опора, что объясняется его отчуждением и бунтарским духом. Поэтому любовная утрата равнозначна потере всего, то есть катастрофе. Подобные черты несет концепция любви и у русских романтиков. Однако до Лермонтова это чувство не было связано с идеей бунта против мира и Бога, т.е. в этом отношении отмечается более конкретный характер мотивировки.

В соответствии с байроновской традицией развязка в русских романтических поэмах не решает проблему отчуждения. Герои Байрона умирают, не примирившись ни с человечеством, ни с Богом. Они остаются одинокими, даже сражаясь на чьей-либо стороне, и погибают, так как не верят до конца в дело, за которое выступают. Русская романтическая поэма также завершается смертью героя, но и здесь наблюдается стремление к конкретизации мотивировки: центральные персонажи не отделяют себя от «дела» и гибнут, целиком отдаваясь ему. Но и в любви и в смерти ситуация отчуждения остается неразрешимой.

Затем Ю. Манн переходит к рассмотрению соотношения романтической поэмы с некоторыми другими жанрами той эпохи — с балладой, элегией, дружеским посланием и идиллией. Он подробно останавливается на фабульных и стилевых моментах в этих малых жанрах, которые как бы подготавливали романтический конфликт поэмы. В связи с отношением автора и героя ученый объясняет появление рядом с лирическим (авторским) «я» художественного субъекта (третьего лица) возрождением эпической традиции классицизма. В романтической поэме переживания персонажа и автора (особенно в посвящении и в эпилоге) параллельны, но на сюжетном и повествовательном уровне различны, действие освобождается от авторского присутствия.

Исследователь оценивает конфликты в поэмах Баратынского как постромантические. В них действие децентрализуется, события переносят нас в будни светской жизни, момент отчуждения перемещается в предысторию, а его место в собственно повествовании занимает момент возвращения. Возвращение персонажа после очередного поражения подчеркивает беспощадность романтической антиномии. Повышение роли героини, ее относительное уравнивание в правах с главным образом уже указывает на тенденцию к многополюсным произведениям.

В поэме Лермонтова «Мцыри» романтический, «земной» конфликт проецируется в небесные дали, а в «Демоне» сама коллизия уже приобретает небесные, астральные масштабы. В «Мцыри» вновь появляются хорошо известные признаки романтического конфликта, хотя Лермонтов несколько видоизменяет их. Ю. Манн показывает, например, что бегство здесь — не просто привычный уход из цивилизованного мира на лоно чистой, нетронутой природы, оно означает возвращение мальчика на родину. Исключительность и отчуждение героя налицо, но монастырь — это не враждебная среда, хотя еще и не родина. А новое окружение во вторичной ситуации здесь трансформируется в образ желанной естественной стихии, родного края, куда стремится герой. (По терминологии Ю. Манна, первичная ситуация романтических поэм соответствует стремлениям героев, не навязана им извне. Вторичная же ситуация — принудительная, не совпадающая с их заветными мечтами.) Естественность поступка мальчика, введение в действие момента возвращения при всем следовании канонам романтизма означает одновременно и продолжение новаций Баратынского.

До «Демона» конфликт в романтических поэмах отличался дуализмом: на первом плане «земные» люди действовали в конкретных, «земных» ситуациях, но отсюда уже намечалась перспектива второго, более универсального плана. В «Демоне» — впервые в русской литературе — конфликт расширяется до драмы субстанциональных сил с космическим пространством и временем, с реальными и сверхъестественными персонажами. Ю. Манн убедительно показывает, что такая трансформация романтического конфликта ближе не традициям русской литературной практики, но байроновской концепции. Отчуждение, бунтарство приобретает глобальный характер, оно направлено против человечества, вселенной, даже против Бога. В поэме соединяются противоположные тенденции: в примирении заложен новый бунт, в возвращении — возможность повторного бегства, особенно же характерно для нее сопроникновение добра и зла. По традициям русского романтизма, «Демон» имеет двойной финал: частный, не разрешенный на уровне главного персонажа, и универсальный, всеобъемлющий.

После анализа конфликта в романтических поэмах ученый во второй части своей монографии переходит к рассмотрению прозаических и драматических жанров. Он исходит из историко-литературного факта, по которому формирование романтизма в русской прозе и драме началось позднее, что, естественно, позволяет предполагать влияния прослеживаются на всей линии русского литературного развития: как известно, именно благодаря Пушкину и его предшественникам в лирических и стихотворных жанрах сформировался гибкий поэтический язык и стихотворная манера, которые вывели русскую поэзию на уровень мировой литературы и оказали благотворное влияние на другие роды и жанры изящной словесности.

В последующих главах Ю. Манн исследует преемственность и обогащение системы поэтики, сложившейся на почве лирики и поэмы, в прозаических и драматических произведениях на основе формирования романтической коллизии. В ранней прозе Бестужева-Марлинского он показывает путь, проделанный писателем от нейтрализации конфликта к его обострению, от одноплановых фигур к созданию романтического героя. В параллелизме судеб автора и персонажа ученый видит продолжение традиции, заявленной в романтических поэмах, отмечая установку на присутствие автора и за пределами романтизма (в «Евгении Онегине», «Мертвых душах», в романах Тургенева), с другой стороны — на его нейтрализацию в поэмах Баратынского и Лермонтова. В качестве примера Ю. Манн приводит сочинения Н. А. Полевого, обращая внимание на трансформацию романтического конфликта. В рассказах, романах и драмах персонажи, судьбы, поступки (например, бегство) обрисовываются более конкретно и четко за счет частого использования исповедальной формы, реже встречаются намеки, умолчания, столь характерные для поэм, рассеивается романтический туман. Эта конкретизация усиливается обилием литературных реминисценций: в образах героев это ссылки на романтические элегии и поэмы (аллюзии, цитаты, общий настрой и т.д.), в изображении фона, окружения улавливаются отзвуки сатир и эпиграмм XVIII в., сарказм комедий Фонвизина или нравственный пафос Грибоедова. Автор монографии заключает, что портрет персонажа в прозаических произведениях не переступает определенной границы, неизменной остается его романтическая субстанция, более того, конкретизация внешних признаков сама по себе еще отчетливее подчеркивает сущность. Социальные моменты в трансформации конфликта исследователь определяет как фактор, способствующий его заострению. Этой же цели служит обращение к идее естественного права, мотиву предрассудков, что роднит романтизм с категориями Просвещения (см. пьесу Белинского «Дмитрий Калинин»).

Особого внимания заслуживают размышления литературоведа о возникновении и развитии диалогического конфликта. Корни романтического героя и его прагматического, рационального антагониста он видит в очерке Карамзина «Чувствительный и холодный», а зачатки диалогического конфликта между двумя этими типами обнаруживает в ранних драмах Белинского и Лермонтова («Дмитрий Калинин» и «Странный

человек»). Однако полюсы диалогического конфликта в романтизме не равнозначны: по своему уровню романтический герой выше оппонента. Их уравнивание, уже под знаком реализма, произойдет в романе Гончарова «Обыкновенная история» и в произведениях представителей «натуральной школы», где диалог ведется между равноправными партнерами, а на смену иерархичности персонажей приходит сопоставимость равноценных планов, тем самым как бы обозначая будущие горизонты диалогического конфликта.

Динамическое изменение коллизии и ее составных элементов остается в центре внимания ученого и при анализе таких излюбленных категорий романтизма, встречающихся в повествовательном, а еще чаще в драматическом жанре, как свобода и необходимость, а также усиление или ослабление вытекающей из них двойной мотивировки в «трагедиях рока». Особую форму проявления двуплановости он обнаруживает в драме Лермонтова «Маскарад». Отталкиваясь от первоначальных значений мотивов «маскарада», «бала» и «игры» (все они уподобляются жизни), Ю. Манн вскрывает их более глубокий смысл, вследствие чего игра (т.е. шулерство, выражающее отступление от условности в негативную сторону) образует смысловой контраст с балом и маскарадом. Ведь маска, костюм допускают ту раскованность и естественность, которая в повседневной жизни без ее маскировки скрывается под правилами поведения и этикета. Анализ взаимопроникновения этих трех мотивов и элементов романтического конфликта в книге Ю. Манна совершенно по-новому освещает место лермонтовской драмы в литературе романтизма.

Отдельную главу автор посвящает внутренней связи исторической и народной темы, устанавливаемой романтическим конфликтом. Историческое зачастую выступает как антитеза серой житейской прозы настоящего, народное (сельское, нецивилизованное) противопоставляется цивилизованной (городской, светской) жизни и морали. Эти две пары нередко взаимосвязаны друг с другом.

Говоря о конфликте в зрелом романтизме, ученый обращает внимание на противоположные тенденции: с одной стороны, рассматривает появление в русских исторических повестях и романах героев среднего масштаба как признак нейтрализации романтической коллизии, следуя в этом теории Д. Лукача, с другой, в гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки» констатирует усиление романтических черт.

Монографию отличает богатство мыслей и конклюдзий. Юрий Манн интерпретирует произведения русского романтизма с точки зрения эстетики и теории литературы и тем самым порывает с традицией прошлых десятилетий, основывавшейся на идеологическом и политическом подходе к литературе. Он полемизирует с концепциями, разделяющими романтизм на реакционный и прогрессивный, пассивный и активный, исследует проблемы этого направления в контексте мировой литературы, что придает особую убедительность его выводам относительно вклада русской словесности в общелитературный процесс.

Иштван Хетеш

С. Гурвич–Лищинер, Творчество Герцена в развитии русского реализма середины XIX века. Москва 1994, 176 с.; С. Гурвич-Лищинер, Герцен и русская художественная культура 1860-х годов. Тель-Авив 1997, 234 с.

Задача полного изучения творчества Герцена не ставилась до последнего времени, хотя интересных исследований частного характера было немало. Именно поэтому новизна указанных монографий совершенно очевидна, и поэтому я позволяю себе более подробно писать о них. Автор, рассматривая результаты своих поисков в первой книге, пишет, что ее намерением было изучать творчество Герцена как цельную художественную систему в литературном контексте времени, в становлении и слитном движении с художественным сознанием эпохи, как его активную составляющую часть. В центре внимания Софии Гурвич-Лищинер — своеобразие и развитие поэтического мира Гер-

цена и формирование ведущих жанров его творческой деятельности в проекции на художественное сознание эпохи. Исследовательница констатирует: чтобы приобщиться к законам его реального развития, необходимо выделить отдельные, определенно направленные пучки взаимодействия и конкретно рассмотреть их. Вместе с тем, она верно осознает, что роль Герцена-художника — лишь один из внутрилитературных факторов наблюдаемого процесса; требуется не менее пристальное изучение других сторон в сложных взаимных притяжениях-отталкиваниях-соприкосновениях, ибо лишь совокупность их составляет подлинную жизнь и движение моря искусства. Уместна ссылка Гурвич-Лицинер на Ф. А. Степуна: «Россыпь писателей не делает еще литературы... Литература жива только там, где писатели не рассыпаны, а собраны; где они как льдины половодья, стучаясь друг об друга, громоздясь и мешая друг другу, струят свое вдохновение в широком русле национальной жизни» (I, 6). В этих размышлениях находится ключ к разгадке того факта, почему требовались автору два тома для изложения своих наблюдений, и почему в центре первой книги анализируется Герцен (как это подчеркнуто в заглавии), а во второй — соприкосновения-отталкивания деятелей русской художественной культуры с творчеством Герцена.

1. В первой главе первой книги исследовательница изучает формирование Герцена-художника. Герцен действительно взят, как и в обеих книгах, в широкий контексте русской и мировой литературы. Стоит подчеркнуть, что, анализируя первые произведения писателя, Гурвич указывает одно из специфических свойств Герцена — говоря о Казани, он пишет о «месте встречи и свидания двух миров» (1835), где частные наблюдения подчинены универсальным философско-историческим заключениям молодого, еще начинающего писателя, и его стремлению уловить самобытность общего исторического потока европейской цивилизации и народов Поволжья в России. Однако, пожалуй еще важнее, что автор монографии уже замечает линию усиления субъективно-эмоционального элемента, который совмещается с гротеском в изображении «внешней жизни». Не случайно писал сам Герцен в 1837 г.: «Письма из Вятки — это карикатура». Но Герцен — в поисках творческого синтеза, цельности в отражении мира, в сопряжении внутреннего и внешнего. Возможно, что эти начинания именно поэтому остались незавершенными. На страницах других фрагментов доминирует религиозно окрашенное романтическое противостояние всему существующему миропорядку. Окраска эта оказалась непрочной. Сам Герцен, осмысляя этот период своей жизни в общении «Былого и дум», объяснит это органической трезвостью взгляда, воспитанной в школе протестантского культа разума. Уже здесь появляются мотивы неутоленной жажды деятельности, воплощение интенсивной духовной жизни в тщетных поисках гармонии с идеалом, лирическое развешивание контактов индивида с окружающим в тональности «ядовитой иронии» и автоиронии (с. 9–15) и горькое заключение, что для осуществления идеала недостает реальных опор в действительности.

В чуткой сопричастности русской и мировой литературно-идеологической ситуации, в самобытной глубине претворения существенных для нее мотивов, характеров, конфликтов вырастает образный мир Герцена уже к началу 40-х годов в активный фактор русского литературного процесса. «Записки одного молодого человека» стоят у истоков одной из плодотворнейших ветвей реализма «натуральной школы». Истинная философия жизни может быть найдена на путях интенсивной работы мысли, творчества личности и ее революционной гражданской активности — вот смысл завершающего противопоставления Герценом биографий Байрона и Гёте. Уже в связи с анализом раннего произведения отмечено появление характерного для писателя отделения своей нынешней позиции от прежней точки зрения лирического «я», которое затем закрепляется структурно многоступенчатостью в динамике авторского миропонимания. Таким образом, уже здесь отразилась одна из существенных особенностей Герцена-художника: «стремление выявить творчески как можно более выпукло само неостановимое движение мысли, сохранив в неприкосновенной живости все его этапы», — пишет очень метко София Гурвич (с. 26–27). Проницаемость граней между голосом героя и автор-

ским, прямо не участвующим в споре, но ведущим мысль героя к наибольшей логической последовательности и диалогичности выводов, будет затем ощущаться в развертывании диалогического конфликта «Кто виноват?». Эту обусловленность философского диалога героев романа Герцена уловил и заострил Белинский. И когда уже в XX в. Томас Манн будет теоретически осмысливать своеобразие художественного общения в «реалистическом интеллектуальном романе», он в первую очередь укажет на «активизацию человеческой личности „героев“ и активизацию самого повествования».

Углубление и дальнейшее развитие этих весомых идей продолжает глава «Творчество Герцена 40-х годов и становление реализма „натуральной школы“». В это время развертывается с усиленной энергией и философский поиск Герцена, причем включая широчайший исторический охват философских идей человечества «от Анаксагора до Гегеля» (с. 39). Для дальнейшего творчества писателя слияние сфер мысли и чувства, сложнейших исканий духа и простых жизненных функций организма в самой стилиевой ткани имело принципиальной основой гуманистический взгляд на целостность и активность природы человека. К этому фактору исследователь присоединяет еще главную для Герцена задачу — постижение объективных законов действительности. Ведь именно эти факторы будут в дальнейшем определять своеобразие голоса Герцена. Изложение и анализ этих идей и является вступлением к всестороннему изучению романа «Кто виноват?», повестей «Сорока-воровка», «Доктор Крупов». Рассматривая эти произведения, С. Гурвич исследует всю критическую литературу о них от Ю. Манна, В. Марковича до Аполлона Григорьева, И. Аксакова, Огарева и Страхова, Хомякова и Самарина, В. Майкова и А. Веселовского, В. Чичерина и заграничных отзывов. Интересно, что мнение С. Гурвич следует только после этих высказываний, отчасти как будто обобщая, а отчасти оспаривая их. Она коротко упоминает о Гончарове, Тургеневе, Лескове, Салтыкове и Достоевском для доказательства того, насколько верно, глубоко и своеобразно схватил Герцен ведущую идею времени. Эстетическое сознание эпохи, уходящее глубоко в корни русской действительности, воплотилось в разных течениях и стилях «натуральной школы». Такая композиция главы, пожалуй, на первый взгляд странная, показывает и новацию Герцена и новизну подхода исследователя. Кстати, западная критика сразу почувствовала по появлении первых переводов в сочетании литературную «нетривиальность» и «нетрадиционность» этих произведений Герцена (с. 83).

В третьей главе «Проза Герцена периода революции 1848 г. в литературном контексте времени» трактуется уже о творчестве Герцена за рубежом. В мир писателя широко и непосредственно входит как кровный, личный опыт — новейший политический опыт революции 1848 г. в Европе, очевидцем которой он был. Главное, что было замечено, это то, что новые жизненные, философские, художественные искания Герцена отнюдь не означали разрыва с предшествующим этапом творчества. На значительно расширенной базе «сопоставления с опытом Европы» его принципы реалистического исследования действительности оставались важнейшей опорой и при построении новых жанров. Летом 1847 г. он написал четыре первых «Письма из Франции и Италии», закончил раннюю редакцию пяти начальных глав повести «Долг прежде всего», и декабрем датируется «Перед грозой», открывавшая диалоги «С того берега». С. Гурвич считает, что замысел большого романа нес в себе дальнейшую усложненную разработку характерного для «натуральной школы» конфликта человека и «силы вещей» — в высшей, идеологической модификации этого конфликта. Однако здесь еще авторский взгляд оставляет перспективу открытой. И главный творческий интерес Герцена в эти годы — жизнь духа русского революционера, оказавшегося перед мировым историческим катаклизмом — находит претворение в лирической прозе. В этот период Герцен, подхватывая определения оппонентов, полемически утверждает «легкость» своих «Писем» — и связывает их в этом отношении с традицией «Путевых картин» Гейне (с. 103). Указывает в ней наиболее близкую себе творческую стихию. Широкая гамма жизненных впечатлений предстает схваченной как бы в самый момент возникновения, в удивительной живости реакций, многокрасочности и образном блеске ассоциаций. У обоих, пишет С. Гурвич, это проявляется в «легкости», свободной целеустремленности

в отборе, компановке наблюдений, в их эмоциональном освещении. Это понимание ведет к герценовскому определению смеха: «Смех имеет в себе нечто революционное... В церкви и во дворце никогда не смеются, по крайней мере открыто. Крепостные люди лишены права улыбки в присутствии помещиков. Одни равные смеются между собой» (Г. V, 89). Однако соотношения публицистики Герцена с лирическим миром прозы Гейне сложнее. В динамике «Писем из Франции и Италии» и их композиционной структуре чутко отражается развитие действительности в душевной жизни автора. А рядом с этим в книге «С того берега» идет глубинное философское претворение трагического опыта истории, развернута «философия революции 1848 г.», разрушающая просветительские иллюзии: «я ... не мог насмотреться на панораму Парижа», строящего баррикады... Так философские споры корректируются динамикой жизненных переживаний участника исторической катастрофы. В предельно объективированном виде диалог повернут к общей проблеме исторического взаимодействия передового мыслящего меньшинства и неразвитой массы. И этот спор поставлен композиционно в центр. В органическом чувстве ответственности перед страданием миллионов Герцен страдает из-за жертв человеческих.

В книге «С того берега» анализируется великая роль эпитафий и взгляд на побежденную революцию. Однако в исповедальных монологах и диалогах «С того берега» мотивы кризисной раздвоенности в конечном счете преодолеваются — ибо «жизнь обязывает!». По мнению С. Гурвич, единственным надежным ориентиром остается для Герцена светлое творческое начало разума — неразложимое гармонизирующее ядро личности, ибо на ней лежит ответственность за сбережение гуманистических ценностей общечеловеческой культуры.

В четвертой главе «Художественный мир Герцена 1850–60-х годов, „Былое и думы“ — эпистолярные циклы» анализируется высший этап творчества писателя. Лирическая публицистика Герцена, его философско-диалогическая проза периода революции 1848 г. уже сама по себе раздвинула жанровые возможности русского слова в изображении «логического романа», драматизма идейных исканий личности, поставленной перед лицом глобальных исторических катастроф. Поиски новых объективных опор для идеала общественной гармонии приводят к «духовному возвращению на родину», и Герценом создается концепция русского крестьянского социализма. При всей утопичности ее, в иллюзорной форме осознается действительная специфика национальных исторических задач, назревающий демократический протест миллионной крестьянской массы против помещичьей власти, означающей запоздалое развитие России. Таким образом вырисовываются духовные перспективы нации против самодержавного произвола. «Сарказм и негодование» аккумулирует литература, и ее история становится в книге «О развитии революционных идей в России» (вышла в 1851 г. на французском и немецком языках) волнующим повествованием о живом движении непокоренной мысли, передающейся из поколения в поколение, вопреки любым преследованиям и жертвам. Описанные выводы уже несут в себе нераздельно наиболее результативное (в данных условиях) жизненное и наиболее убедительное творческое решение указанной проблемы, равно основополагающей для него как писателя-реалиста и человека, «рожденного для форума», — проблемы соотношения активной воли личности и объективных обстоятельств. Эта трезвость взгляда характеризует всю книгу Гурвич, даже если затрагиваются самые острые моменты личности и творчества А. Герцена.

С ноября 1852 г. Герцен приступает к «Былому и думам» (большинство глав написано и напечатано в 50-е годы, но работа продолжалась до конца жизни). Параллельно он начинает свою деятельность по организации Вольной русской типографии по изданию «Полярной звезды» (1855–1869) и «Колокола» (1857–1867). «Былое и думы» — необычные мемуары, первым побуждением к ним послужила трагедия любви, потребность поставить «надгробный памятник» любимой, но они обретают эпопейный размах. И при этом они остаются именно в пределах мемуарно-автобиографического повествования. С. Гурвич рассматривает точку зрения Л. Я. Гинзбург на жанр «Былого и дум», — принципиально эволюционировавшую: «Если первоначально подчеркивалась

близость их к романной стихии, то впоследствии акцент перемещается на специфику путей художественного обобщения в произведении Герцена» (с. 132). Но исследователь подчеркивает, что в последние годы научный поиск направлен также на разработку отдельных доминирующих свойств герценовского мемуарного жанра — выявляется роль в его повествовательной структуре диалогизма, философского начала, соотношение драматического, лирического и эпического принципов в организации жизненного материала; исследуется поэтика портретных характеристик... Автор напоминает слова Ходасевича о Бунине, где видится передача «непосредственного, прямого ощущения жизни» (с. 136). Очень важно, пишет автор, что узлом сопряжения одного и многих, единства микро- и макромира в их общем историческом движении, выступает ищущая мысль, ее порыв к познанию объектных законов истории. А в поэтическом строе «Былого и дум» сливаются эпический, лирический и драматический принципы отражения жизни. Таким образом, мемуарный жанр, приобретая под пером Герцена свойства интеллектуальной, философской прозы, позволил ему широко раздвинуть возможности реалистического искусства вообще (с. 149). В них ассоциативное богатство, образная конкретность самой мысли — поэзия интеллекта — обобщает С. Гурвич. Она ссылается на определения и характеристики Ю. Олеси и Ю. Тынянова, говоривших о метких находках Герцена. В обобщении выдвигается как специфическая особенность лирико-философской прозы, публицистики и мемуаров художника, и то, что они расширили горизонты искусства в целом. И главное — они освоили текучесть духовной жизни личности в ее непосредственной соотнесенности с историческим потоком, что характеризует целиком творчество Герцена.

2. Вторая книга является прямым продолжением первой, где центр тяжести анализа сконцентрирован внутри герценовского мира. Наблюдения, изложенные во второй книге, дополняются как бы взглядом извне. Он особенно важен для периода «шестидесятых годов» (т.е. 1856–1868), годов общественного подъема, приведших к падению крепостного права и другим реформам. С. Гурвич ссылается на мысль Н. Шелгунова, известного публициста того времени, что «умственная революция, которую мы пережили в шестидесятых годах, была не менее умственной революцией, чем та, которую переживала Франция с половины XVIII века» (с. 5). Само построение книги определяется многообразием соотношений, «сцеплений» с творчеством Герцена у разных писателей и разных литературных поколениях, широтой общего воздействия «фермента» эстетики Герцена на художественную жизнь этого периода — и глубиной структурных реакций, изменяющимся во времени формами притяжения — отталкивания в творческом методе отдельных художников.

Первая глава посвящена формам активного присутствия эстетической мысли Герцена в движении разных видов художественной культуры эпохи «шестидесятых годов», когда рефлекс его творческих принципов и открытий отзываются и в рождающемся новом языке музыкальной образности, и в идеологически-конфликтном содержании исторической живописи и т.д. Лишь соотнесенность психологических, интеллектуальных коллизий личности, человеческих судеб с всемирно-историческими катастрофами рождает подлинно драматическое в жизни — источник драматического в искусстве — обобщает раздумья Герцена С. Гурвич. Лучшим примером этому служит картина Ге «Тайная вечеря». Известно, как три года бился живописец над ней, как дважды целиком переписывал ее, стремясь уйти от академической живописи и рутины. Недаром в работе над окончательным вариантом фигуры Христа использован фото-портрет Герцена. Ге впоследствии вспоминал: «Герцен был самым дорогим и любимым моим и жены моей писателем, мы ему были обязаны своим развитием». Наиболее близки к герценовским эстетическим критериям философичности и историзма в трактовке этой картины М. Е. Салтыков и тогда еще молодой критик и ученый А. Н. Веселовский. Далее доминанту лучших исторических полотен Ге будет составлять страстный диалог двух полярных жизненных кредо (Христос и Пилат, Петр и Алексей), за которыми — острейшее столкновение старого и нового мира. Между прочим, «Тайная вечеря»

надолго определила творческие искания Крамского, действовала на Репина и не оставила без воздействия Поленова. И Достоевский, намечая в «Дневнике писателя» 1873 г. перспективы русского искусства, отталкивается от впечатления «Тайной вечери». Спор с ее автором в дальнейшем будет приобретать все более принципиальный характер. Эти страницы, а также рассмотрение герценовского понятия о комическом, относятся к лучшим страницам книги о воздействии Герцена на культуру своего времени. Герцен имел прямые контакты с Мусоргским, Бородиным, Римским-Корсаковым, но они довольно бегло обозначены, и сам автор книги пишет, что дальнейшее изучение этих связей еще впереди.

Ценные наблюдения содержит глава «Герценовские ориентиры в мемуарах и публицистике 1860-х годов». Исходным моментом считает автор то, что творчество Герцена стало одним из существеннейших литературных факторов в формировании многообразия типов русской классической «интеллектуальной прозы».

Следует задуматься над опосредованным воздействием, о котором пишет С. Гурвич в связи с такими произведениями, как «Мои литературные и нравственные скитальчества» Ап. Григорьева, как «Замогильные записки» В. С. Печерина.

Третья глава «„Токи“ художественной мысли Герцена в формировании разных течений реалистического интеллектуализма». Здесь отмечается, что в последние десятилетия особенности русского литературного процесса 1860-х годов не раз становились предметом исследования и в России и за рубежом. При этом отмечалось, что главная черта русского романа 60–70-х годов, отличающая его от романа предыдущего десятилетия, — его еще большая широта и универсальность [...] Философия, история, политика, текущие интересы дня свободно входят в роман, не растворяясь без остатка в его фабуле.

Но в историческом плане чрезвычайно важна дифференциация и уточнение понятия «поэзия мысли» или «литература мысли», «интеллектуальная литература» и т.д., как и в первой книге. Ибо часто принято причислять к этой области всё то, что не умещается на другие полочки. Распространена, в частности, точка зрения о родстве поэтических принципов «Кто виноват?» и «Что делать?» Чернышевского. Имелись даже высказывания, что эти два вопроса определяют своеобразие русской литературы XIX в. Автор настоящей книги справедливо выступает против такой, слишком схематичной, упрощенной линии совмещения, напоминая, что в стилизованном отношении роман «Что делать?» вызывал резкую реакцию Герцена (форма скверная, язык отвратительный, что за представитель семинарии и Васильевского острова); нетрудно заметить, что всё это относится не только к слогу в узком смысле слова, но и к форме художественной мысли (с. 53–54). С. Гурвич права, оспаривая структурное сближение обоих произведений, ограниченное подчас такимим внеположенными художественной реальности романа соотношениями. Чернышевский рисковал тем, что духовные побуждения героев оказались опосредованными извне, антропологической схемой «здоровой природы» и рационалистическими пружинами «расчета выгод» (с. 58). Надо отметить, что по характеру и роли повествователя оба произведения сильно непохожи. Герцену далеки и те нравственные эксперименты, к которым прибегает для доказательства своих тезисов Чернышевский-романист.

Весьма обстоятельно и широко рассмотрены соотношения герценовских произведений со сходными по жанру или стилю произведениями других писателей. Так, в предыдущей главе «Былое и думы» предстают в обрамлении большого количества «воспоминаний-спутников», тут не только широко известны воспоминания Ап. Григорьева, Огарева и Печерина, как я об этом уже упоминала, но имеется также и изобилие параллелей к эпистолярному жанру Герцена.

Не довольствуясь сопоставлениями по жанрам, С. Гурвич проводит сопоставительный анализ Герцена с рядом писателей. В сущности, здесь приводится целый ряд маленьких монографий: Л. Толстой и Герцен, Щедрин и Герцен, Помяловский и Герцен, Лесков и Герцен и т.д. Здесь имеются новые, свежие и интересные соображения и выводы. Не оспариваю, что творчество Герцена заставило сильно задуматься о про-

блемах, которые были вызваны влиянием эпохи, и знакомство с Герценом в основном усиливало необходимость вводить в структуру характеров и фабулу романов идейные искания и споры. Тут были сходные идеи, похожие раздумья, однако личность писателя определила силу воздействия этих формулировок. Наверное, для углубления атмосферы эпохи эти соотношения исключительно плодотворны.

Самыми интересными главами второй книги являются, пожалуй, главы о взаимодействии Герцена с Тургеневым, Достоевским и Салтыковым. Это последующие четвертая, пятая и шестая главы.

С Тургеневым Герцен часто встречался еще в юности в России, а затем в Париже, в Англии, а в промежутках между этими встречами не прерывался содержательный диалог художественных впечатлений. Предметом дружеских дискуссий служили и обдумываемые замыслы. Само нетрадиционное сопоставление донкихотовской безоглядной преданности идеалу с гамлетовскими сомнениями формируется в русле основного спора двух типов мышления, который является движущим нервом книги «С того берега» (с. 94). Но каждый раз в образах революционного донкихотства на страницах «Былого и дум» преобладает мотив прощания с «вершинами» уходящего мира, с «„благородным прошедшим“, будь то Маццини или Квадрио, Ворцель или даже Гарибальди...». Следует отметить, что Герцен посвятил целую главу Л. Кошуту, но в своей книге С. Гурвич не упоминает о венгерском деятеле революции 1848–49 гг. В романе «Рудин» интенсивнее всего воссоздаются духовные, а не сугубо бытовые приметы времени. Реальную атмосферу действительности исторического момента на первом плане романного пространства передают, как и в «Кто виноват?», диалоги героев, философски насыщенные рассуждениями о морали и смысле жизни. С. Гурвич находит, что Тургенев в формируемой им на рубеже «шестидесятых годов» романной поэтике отталкивается от открытий Герцена и качественно трансформирует их, создавая своеобразно приоритетам собственного художественного мировоззрения. Это заключение автора очень правильно, и после анализа романа Чернышевского эта часть является одной из лучших в сопоставительных главах.

Говоря о Достоевском, автор касается и «динамики духовных исканий и диапазона творческих контактов». Здесь мы находим высказывания из «Дневника писателя», из писем Достоевского и сходство в страстности аналитического исследования трагедии личности в романах последнего. Тут очень много метких открытий и наблюдений и обоснование их не отсутствует, но, когда речь идет о таких определяющих фигурах русской и мировой литературы, хотелось бы иметь побольше информации; именно потому эта глава воспринимается нами как очень многосторонний и умный проспект для будущей книги, автору с его подготовленностью и научной кропотливостью не ставило бы большого труда написать, продолжить и развернуть ее.

Последняя глава исследует в творчестве Салтыкова и Герцена общность мировоззренческих констант и своеобразие претворения художественных традиций. Моралистическое начало, интеллектуальная поэтика, лиризм, сочетающийся с сарказмом, обнаженность несоответствия претензий на величие и личных возможностей очень роднит Салтыкова и Герцена. Особенности жанра социального нравоописания свойственны обоим писателям, они характеризуют состояние общества, так же как и сталкивание понятий сугубо конкретного и идеологически абстрактного семантических рядов в высказываниях и побуждениях их героев; к этому можно еще добавить «наглядные несообразности». Эти возможности порождают в сатирах Салтыкова явление стыда, как у Герцена «пограничную» стилистику презрения к «призракам» официальной морали. В их парадоксах очень много общего, но также много и индивидуального, свойственного только одному Герцену или Салтыкову. У обоих авторов присутствует интеллектуальный гротеск, демонстрирующий несостоятельность таких логически-замкнутых методов мышления, как у изображенных ими действующих лиц.

В заключение следует подчеркнуть: в двух книгах С. Гурвич впервые многосторонне сказано, что у истоков русской классики находится деятельность Герцена — художника и эстета. Исследовательница права, когда подытоживая результаты своих

исследований пишет: «Герцен и его произведения не только открывали западному миру предшествующую русскую литературу, способствовали ее глубинному осознанию. Герценовская поэтика страстной мысли послужила как бы эстетическим посредником и к восприятию на Западе последующих художественных открытий русского реализма» (с. 216), ибо уже в ней обретен инструмент все углубляющегося постижения человека и мира.

Читатель имеет перед собой фундаментальный труд, подводящий итоги изучения Герцена и культуры эпохи, вносящий много нового в изучение области герценовского художественного творчества и взаимоотношения европейской и русской культуры того времени. Следует отметить и чрезвычайно уважительное отношение автора к своим предшественникам. Исследовательница исчерпывающе знает литературу вопроса, не говоря уже о герценовских материалах. Все эти данные способствовали автору в создании настоящей исследовательской диалогии о Герцене и его времени.

Мария Рев

Węgiersko-polski słownik tematyczny / Magyar–lengyel tematikus szótár. Prepared with the assistance of Ilona KOUTNY, Jolanta JARMOŁOWICZ, Csilla GIZIŃSKA, Emília FÓRIZS. General consultants dr Etelka KAMOČKA, Márta GEDEON. Poznań: proDRUK, 2000. 437 pp.

The authors of the dictionary under review have been teaching Hungarian linguistics and literature for many years in the Department of Hungarian, Adam Mickiewicz University, Poznań. Dr. Etelka Kamocka—one of the consultants—is lecturer in the Department of Hungarian, Jagellonian University, Cracow. She specializes in the Hungarian literature. Márta Gedeon lecturer in the Department of Hungarian, Warsaw University, published several articles on the Polish-Hungarian interference.

The dictionary which we are presenting here is said to be the first Hungarian-Polish contextualized dictionary in the history of lexicography (Prof. Jerzy Bańcerowski in the “Preface”). The attribute “contextualized” concerns not as much the contents of a dictionary as its construction: it indicates that the vocabulary is classified by everyday topics. The dictionary under review contains a preface, an introduction and a selected bibliography of dictionaries of various types.

With the 437 pages of the main text the dictionary comprises a general vocabulary of 28000 items which are divided into 16+3 chapters according to topics such as: Man—The Human Body; Family & Society; Clothing & Body Care; Flat & Our Environment; Meals & Food; Health & Illness; Science & Work; Transport; Sports & Free Time; Culture; State—Law—Politics; Industry & Undertaking; Business & Finances; Nature—Environment—Agriculture; Science & Other Branches of Learning; Communication. Miscellaneous Others: a) Greetings & Civilities; b) List of Geographical Names and Given Names; c) Abbreviations.

Each of these chapters has 5-10 subdivisions which contain the entries. An entry e.g. *út* – *ulica* (road/street) can be broken down into four (or less according to the given topic) distinct sections each marked with different signs: ● in the first group the most important synonyms of the headword are enumerated e.g. *körút* – *bulwar* (boulevard); *köz* – *zaulek*, *mala ulica* (lane); *rakpart* – *nabrzeże* (wharf); *sétány* – *aleja* (promenade) ◆ the second group contains the most useful verbal expressions with the headword e.g. *az ~ vezet valahová* – *ulica prowadzi dokądś* (the road leads to); *~on/ utcában lakik* – *mieszkać przy ulicy* (to live at ... , ... road/street) ■ the typical attributes of the headword are to be found in the third group e.g. *csendes/zajos* – *cicha/halaśliwa* (quiet/noisy); *kanyargós /zegzugos* – *zygzakowata* (winding) ◆ the fourth group contains the words which can be connected with the headword associatively e.g. *járda* – *chodnik* (pavement, sidewalk).

The entries are not arranged in alphabetical order but in logical order, i.e. they follow the way from a general concept to the more special one or from a remote place to the nearer one e.g. *country*—*countryside*—*town*—*district*—*housing estate*—*road*—*building*. Particular entries are well

designed and the provided information is sufficient. Many entries offer also idiomatic expressions or sentences exemplifying the usage of entry words e.g. *kerítés – plot, ogrodzenie* (fence, fencing) → *kerítést húz a kert köré, kerítéssel veszi körül a kertet – ogradzać/otaczać ogród plotem* (fence in, enclose the garden); *bankszámla – konto bankowe* (bank account) → *bankszámlát nyit – otwierać/otworzyć konto bankowe* (open an account /with a bank/) (p. 61, 279).

The dictionary under concern is primarily intended for students up to intermediate and upper-intermediate level but it can be a great help for everybody who is studying for a state examination in Polish and/or Hungarian or is interested in these languages for any other reason. While contextualized dictionaries are well known and very popular in Poland, they are known in Hungary only to a lesser degree. The fact that the Polish-Hungarian and the Hungarian-Polish bilingual dictionaries today in use can be regarded mostly as obsolete also stressed the urgent need for such a dictionary.

In conclusion, considered all that was outlined in this review, this dictionary must be hailed as a publication event. It certainly merits the attention of both teachers of Polish and students (for the latter it is most certainly a must) and last but not least also contrastive linguists. This dictionary is an extremely interesting, informative and valuable book and as such is highly recommendable to all those who have some interest in or contact with the Polish and/or Hungarian language.

Péter Pátrovics